ПО СОСЕДСТВУ

Пропахший бензином и слежавшейся пылью куцый автобус рванул на последнюю вспышку зеленого света и, успев свернуть к остановке, безнадежно застрял в очереди еще не отъехавших от тротуара чудовищ, пыхающих черным, вонючим дымом на скучно и бездейственно ждущих, размякших на яростном майском солнце баб и старух, обычно едущих в это время с городского рынка…

Сидя впритык на узкой скамейке, с авоськами и ведрами на коленях, бабы терпеливо ждут автобуса. Жаркий май, с едва промелькнувшим черемуховым сквознячком и спекшейся на солнце сиренью, торопит уже яровые и всякого рода сорняк, и разговоры у баб об одном и том же: посадить, прополоть... ну и, конечно, про скотину, у кого загуляла, у кого отелилась корова. Бывает, бабы принимаются спорить, какой бык для случки годится, а какой так себе, и всегда выходит, что нет в деревне быка лучше Вартана и что достоинства у него бычьи. Спор нередко переходит в ленивую перебранку, задевающую мужа, соседа или зятя, хотя ни у кого из них нет и трети того, чем силен бык. Прохожий прислушивается, пытается вникнуть, и сдается ему, что бабы, они же старухи, посходили все разом с ума.

Бабка Тоня, шустрая в свои семьдесят с лишним лет, голубоглазая старушка с загорелым уже с ранней весны морщинистым лицом, крепкими, как у мужика, руками и все еще прямой, легко гнущейся спиной, отсиживает на остановке по два-три часа, экономя восемь рублей и имея в ожидании свой тайный старушечий смысл: мимо нет-нет да и проедет сын и махнет ей из кабины автобуса. Кроме двух коров, сына и внучки, никого у нее в мире не осталось, хотя соседей вокруг много и всем приходится угождать. Сын недавно отстроился, внучка взрослеет, и если бы не молоко, сметана и творог, охотно разбираемые на улице, не осталось бы в жизни ни одного выходного, все только работа. Богатым, сколько ни работай, все равно не станешь, а самое лучшее, что только в жизни бывает, оно бесплатно, это бабка Тоня знает наверняка. Никто ведь не назначает цену   
радости, с которой при виде сына бабка Тоня достает из авоськи банан или апельсин, и сыну приходится больше положенного стоять на остановке, слыша сзади нетерпеливые гудки, паря в автобусе людей и нетерпеливо матери улыбаясь, и она долго потом машет ему вслед, и радости ее многие завидуют

Нехотя тронувшись с места, переполненный куцый автобус лениво катит мимо безнадежно унылых, пестрящих рекламой и телефонными номерами заборов и стен, мимо втиснутых в бетонные дыры, изнасилованных гарью и пылью кустов сирени и напрасно тянущихся вверх тополей, и не на что больше смотреть сквозь пыльные окна. Но чем ближе к окраине, тем быстрее мелькают тополя, заборы и прилепившиеся к обочине киоски, и вот наконец шоссе, продуваемое со всех сторон ветром, на открытой придонской равнине, среди томящихся уже от засухи полей.

У окна, рядом с бабкой Тоней, мается от жары Марина Мстиславовна, недавно переехавшая из города. Она еще не старуха, но в возрасте, с   
отекшими, тяжелыми в коленях ногами и все еще сильным, хотя и располневшим телом. Лицо у нее строгое, всегда немного грустное, как бы даже нездешнее, глаза смотрят пронзительно и холодновато. Их цвет спрятан за толстыми стеклами очков, и лишь изредка, в особые минуты, угадывается в них зеленовато-голубое, прозрачное, солнечное. Разговоров она не слушает, все только глядит в окно, будто там, среди клочковато засеянных полей, есть что-то стоящее. Живет она напротив бабки Тони, на полдома со школьной учительницей, никакого богатства напоказ не выставляя, да и вряд ли что-то, кроме пенсии, имея. Огород у нее вторую уже весну не пахан и весь зарос одуванчиками и полынью, и собака гуляет, сколько ей хочется, по этому пустырю, вволю облаивая прохожих. Соседи, конечно, советуют: «Тута надо сажать картохи, а тута капусту...» Бог ведь за пустую землю накажет. И никакие одуванчики с клевером, никакие донники и ромашки не идут в счет: с огорода должна быть выручка. Вон у учительницы Лилии Николаевны: ряды помидоров и лука, редиски и укропа, клубники и огурцов. И между рядами ни одного сорняка, и все унавожено и полито. Учительница смотрит из-за забора, как носится по траве собака, и вдруг с изумлением замечает, что собака... в трусах! В настоящих, девчачьих, с кокетливой оборкой, трусах. Учительский опыт тут же Лилии Николаевне и подсказывает: либо соседка из психов? Догадка эта вскоре подтверждается: в дождь собака выходит в синем, с молнией на спине, комбинезоне, а как похолодает, на ней уже красный комбинезон, с меховым отворотом, а на носу замотана шнурком косичка.

Сосед Борька, держащий коз и по случаю подрабатывающий на стройках, первый прознал, что Марина Мстиславовна врач: только глянула раз, и уже знает, что за болезнь, и рецепт уже на бумажке пишет.

Лилия Николаевна поначалу не поверила, что соседка у нее врач: слишком уж незаметна. Важность, значительность, недоступность, где они? Врач должен производить впечатление ну что ли... заслуженного учителя. Оно ведь и зарплата у врача, неважно, какая: платят больные, заранее благодарные и просто перепуганные насмерть. Это почти как в школе, где ни один учитель не умер еще с голоду от бедности. Поразмыслив о взаимососедской выгоде и перспективе передвижения пограничного забора, Лилия Николаевна достает из морозилки кусок сала и, подумав, добавляет еще полкусочка и с этим идет к соседке:

– Будем теперь подругами.

Она говорит это со всей учительской искренностью, как на родительском собрании, давая словам таять, как свиному салу во рту. Говорит многозначительно, округляя улыбкой требовательность заключенного в словах смысла: «Будешь у меня в подругах, и не спрашивай зачем!» Улыбка у Лилии Николаевны профессиональная и складывается из накрашенных губ сама собой, без малейших со стороны мозга усилий, и на эту липучку безотказно садятся мухи повиновения и страха, жужжа о сладости взаимопонимания. Но тут, в этой пахнущей свежей сиренью прихожей, чувствуется холодок и сдержанность, от которых даже у заслуженной учительницы начинается путаница в понятиях. Обстановка тут, кстати, не бедная, есть к чему присмотреться. И уходить пока еще рано, надо бы расположиться, присесть. Едва не примяв лежащую на мягком стуле фасонную шляпу с шелковой розой, Лилия Николаевна деловито берет находку: от шляпы веет каким-то туманным, забугорным прошлым с большими магазинами и театрами, и очень она, пожалуй, идет к недавно сшитому учительскому пальто пятьдесят восьмого размера, и следует ее тут же, перед мутноватым, в дубовой оправе, зеркалом примерить. Зеркало тоже ничего, антикварное, как у Абрамовича, о чем рассказывают по телевизору очевидцы. Но не все сразу, постепенно. И хотя Марина Мстиславовна решительно прячет шляпу в шкаф, а насчет зеркала ничего не обещает, сомнений у Лилии Николаевны никаких нет: это добро уже не чужое. И чтобы утвердиться в своей учительской правоте, она непринужденно трогает рукав вязаной узорчатой кофты, по-домашнему мягкой и просторной:

– Не подаришь ли мне ее? Или, может, продашь? Или лучше свяжи мне точно такую же!

Кофта уже старая, не раз чиненная, и Марина Мстиславовна снимает ее с себя и, совсем еще теплую, протягивает учительнице, и та торопливо, словно у нее могут отнять, надевает ее на себя, туго обтянув рыхлым узором грудастый торс.

– Отлично, – повернувшись туда-сюда перед зеркалом, заключает она, –   
завтра у меня открытый урок, все обратят внимание... Не свяжещь ли ты мне носки?

Отойдя чуть в сторону, словно опасаясь обо что-то испачкаться, Марина Мстиславовна сдержанно кивает: носки так носки. Случай явно клинический: прогрессирующая в такт с возрастом жадность.

Автобус набирает под уклон скорость, несется мимо заливных, с редкими ивами и березами, лугов, впуская в исхлестанные занавесками окна запах полыни, бензина и пыли. Разговоры по мере приближения к деревне становятся интереснее, даже шофер, и тот кричит что-то бабам из кабины, но те только приказывают: «Ехай, Витек, шибче!» И пока не доедут до Дона, не умолкнут, а то даже и перессорятся.

– Моя-то, как соберется телиться, все ходит туда-сюда, щиплет траву, волнуется, – держа между расставленных толстых ног набитую батонами авоську, охотно поясняет потная, мордастая бабенка в широкой цветастой блузе и с шифоновым шарфиком на короткой шее, – а я ей пшенной каши, да с молоком!

– А моя второй уже год не гуляет, – завистливо бормочет худая, с гладко зачесанными в косицу волосами, наполовину беззубая старуха, – я уж собиралась ее зарезать...

– Потому и не гуляет, что чует смерть, – весело отзывается бабенка, – чует твое душегубство!

– Уж прям, – сердито пыхтит старуха, – скотина ведь.

– У скотины тоже душа, – оборачивается к старухе Марина Мстиславовна, – с горестями и радостями, с животной к тому же страстью. Ты ешь, к примеру, говядину, а душа убитой коровы тоже тут, рогато подступает к тебе...

– Не слушайте ее, бабы, городскую, – сердито перебивает ее жилистый, в поношенном, с полоской орденов, пиджаке, старик. – Она и коров-то никогда не видела! Скотина для того и существует, чтобы ее резать!

«Да какая же это у коровы душа? – недоверчиво думает бабка Тоня. – Мясо да молоко да еще приплод... и снова мясо и молоко...» О душе лучше до срока не вспоминать, а как придет срок, намаешься и отмучаешься, так и унесется она, больше уже ни на что не годная, к небесам. Бабка Тоня, впрочем, в это не верит: никто ее, душу, никогда не видел. А уж коровью душу и подавно: нет такой на свете.

Но вот наконец серо-голубая полоса реки, шофер осторожно въезжает на мост, под автобусом тяжело лязгают железные понтоны, шибая, как на ухабах, на каждом стыке, и медленно, натужно, неохотно автобус ползет к правому, высокому берегу, мимо заржавелых моторок и недостроенной каменной дамбы, мимо очереди стоящих в ряд машин, ползет на бугор, заросший никудышными, мусорными тополями, и, сменив со скрежетом скорость, выбирается на шоссе.

…Грузно ступая по заметенному черемуховыми лепестками асфальту, Марина Мстиславовна дает себя обгонять спешащим к своей скотине старухам, и те не без злобы думают: «Безхозяйственная, не наша». Они поглядывают, бывает, в ее окна, а там круглый год зелень, разные фикусы и пальмы, словно от этого есть какой-то прок, уж лучше бы держала помидорную рассаду. Но постепенно к этому привыкают, да просто перестают замечать городскую дурь, тем более что Марина Мстиславовна живет тихо и незаметно. Где-то в городе у нее сын, но тут она мается одна, с трудом доползая на распухших ногах до продуктового киоска. И всякий раз, принося молоко и творог, бабка Тоня примечает ту особую сноровку и терпение, с которыми Марина Мстиславовна моет бидон, замешивает тесто, разминает руками жирные катышки, лепя совершенно одинаковые, как на продажу, пирожки. Она ничего не продает, но угощает всегда охотно, будто для того только и старается. И хотя бабка Тоня ходит к ней запросто, расстояние между обеими остается порядочным: не так-то просто в душу к этой городской въехать. Нет, непросто. И это неодолимое расстояние наводит бабку Тоню на мысль о какой-то уж очень большой важности, с какой не всякому человеку удобно жить. Да что это, в самом деле, за важность? Редкое умение и хватка? Ум? Оно ведь и у других тоже есть ум, к примеру, у живущей рядом учительницы, но только не у всякого ума оказывается достаточно... понятливости. Сосед Борька, когда выпивши, соображает лучше других: брешет ну прямо как в Госдуме, заслушаешься. Но есть, оказывается, и на его светлую голову управа. Шел он как-то, злой, с похмелья, мимо калитки, и давай бросать комья земли в лающую за сеткой собаку:

– Оторву твоему кобелю яйца!

Марина Мстиславовна выходит, стоит на крыльце, наблюдает. Потом спокойно так, убедительно возражает:

– Не оторвешь.

Борьку это изумляет и злит еще больше: он-то не оторвет? Это он-то? Если надо угомонить корову, овцу, кролика, курицу, зовут кого? Борьку! Свиней, какие размером с обеденный стол, он бьет из двухстволки, поросят закалывает, не успеют те и пискнуть. Дернув себя для бодрости за шатающийся верхний зуб, Борька орет из-за сетки:

– Оторву!!!

Марина Мстиславовна достает из кармана фартука триста рублей, и так же спокойно:

– Даю пятьсот, что не оторвешь.

Борька, едва от злости на ногах, орет, пугая на деревьях ворон:

– Выпускай!!! Оторву!!!

А она спокойно, как в дежурной аптеке:

– Не оторвешь, потому что это сучка.

Чуть было сам не усомнившись в своем уме, Борька дал жене вволю над собой посмеяться и по ходу дела обнаружил, что прозевал самое главное: свое собственное, в глазах молодой бабенки, отражение. В ее прищуренных, угольных, жалящих, кусачих глазах. Ей вовсе не льстило слышать каждый день от соседей: «Твой-то проспался?» Соседи посмеиваются над Борькиной простотой: руки-то работают, но голова где-то гуляет. А тут еще эта сука, у которой не оторвешь яйца... смех и срам. Порой бабенка так от всего этого расстраивается, что готова поубивать соседей, если бы было можно. И черт, неотлучно возле нее дежуривший, спасибо, подсказал: бросить что-нибудь врачихиной собаке. Подойдя под вечер к калитке, она торопливо достала из пакета отравленную крысидом колбасу и швырнула ее за сетку, швырнула на всякий случай и соседской собаке, которая тоже часто на прохожих брехала. И стало ей после этого не то чтобы легче, но... как-то слаще: «Чтоб им всем сдохнуть!» Обе собаки начали сдыхать уже на следующее утро: из пасти, из носа, из глаз текла, не переставая, кровь. Никакой ум тут ничего поделать уже не мог. Тут требовалось сердце. Соседка, чей кобель был отравлен, даже и смотреть на него не хотела: поваляется возле забора и сдохнет. На это Марина Мстиславовна ничего возражать не стала, дело хозяйское, но кобеля перетащила к себе, мало ли что. Обе собаки умирали три дня, лежа под капельницей, и некому было им на несправедливость случая жаловаться. «Усыпить?..» – в отчаянии думала Марина Мстиславовна и тут же принималась поить обоих минералкой, колоть глюкозу и гормоны... Через неделю собаки лакали уже молоко, и соседка, взяв кобеля обратно, не сказала даже спасибо. Зато как радовалась Марина Мстиславовна: собаки носились по траве и по-прежнему лаяли на прохожих.

С Борькой дело было куда хуже: жена отвела его к наркологу. Накануне он пытался втолковать ей, дуре, что если мужик не может сам бросить пить, то и не надо его торопить с этим: бросит в следующей жизни. «Да где это она, следующая? – придирчиво щурясь на Борьку, шипела ему в лицо жена. – Есть только одна, эта! И живешь ты, олух, со мной!» С последним Борька охотно соглашался: только олух и станет с нею жить. Но теперь он подшитый, непьющий. Он строит у бабки Тони новый коровник, старается во всем ей угодить, он теперь денежный. И вместо того, чтобы, как раньше, спросить с утра: «Твой-то проспался?», соседи сочувствуют: «И опять-то он на работе...» Борька и раньше был жилистый, один наваливал кузов коровьего навоза, а теперь появилась в нем новая прыть, когда уже нет надобности опохмеляться. Новый коровник у бабки Тони отстроили, страшно сказать, за десять дней, на одиннадцатый стали крыть крышу, и Борька полез наверх укладывать шифер. Бабка Тоня обещала ему еще и «сверх того», и деньги у нее пока были, и Борька, на пропой уже больше не собирая, рад был угодить жене. Он и взялся поэтому таскать шифер сам, и любо было бабке Тоне на его сноровку смотреть: родной сын не сделал бы лучше. Но после обеда у Борьки так заныло в спине, так резануло   
в пояснице, что он еле слез, скрючившись, по стремянке вниз. «Надорвался, – подумал он, ложась возле коровника на траву, – а не был бы подшитый, так и не вкалывал бы...» Он лежал так с полчаса, и спина только больше леденела и каменела, так что бабке Тоне пришлось звать сына, чтобы тот помог Борьке встать. Опираясь на обоих, Борька еле дотащился до калитки Марины Мстиславовны.

Уложив его на живот, она намазала йодом, крест-накрест, спину, приготовила ампулы с ледокаином. Борька помнил, что жена запретила ему болтать о том, что подшит, но сам он имел слабость разгласить тайну и осторожно об этом намекнул...

– Да как же ты молчал! – ахнула Марина Мстиславовна, видя, что спиртовый йод начинает уже действовать. – Вот бы я вколола тебе, подшитому, ледокаин!

Борька успел только махнуть, словно на прощание, рукой, и душа его рванулась прочь, оставив тело в судорогах кататься по полу. Той дури, которая оставалась еще в его теле, хватило бы, чтобы смести с пола ковровую дорожку, и вместе с ней стол и расставленные вокруг стулья, сдвинуть с места диван, опрокинуть книжный шкаф, вломиться в стекло серванта... Хорошо, что сын бабки Тони навалился на него всем весом, свел за спиной беспорядочно колотящие воздух руки. Но Борька ухитрился куснуть его чуть пониже локтя, отпечатав все свои зубы. «Привей его от бешенства», – усмехнулся тот, смывая под краном кровь. А Борька мычал, как рвущийся на случку бык, пузырил на губах пену, и запертая в спальне собака, слыша это, беспокойно и протяжно выла...

…Посматривая через забор, Лилия Николаевна примечает всякие у Марины Мстиславовны перемены: тут всходит укроп, там зеленеет молодая елочка, возле сколоченной Борькой скамьи цветет вишня... и даже развешенные на веревке простыни, и те проходят пристальную из-за забора проверку. «Приживается, – не без досады думает она, – обустраивается и меня ни о чем даже и не спрашивает, будто меня и вовсе нет!» Ей хочется застать соседку врасплох, когда та еще не встала или моется в ванной, и она стучит, бывает, в семь утра, но чаще входит без стука, как своя, вводя в заблуждение приученную к порядку собаку и заставляя Марину Мстиславовну ронять от неожиданности ложки и сковородки. Учительнице ведь важно знать, знают ли другие, что с нею, почти уже заслуженной, поделать ничего нельзя. Сама же она знает, что власти у зла хоть отбавляй, а о добре болтают лишь неудачники. И Марина Мстиславовна вряд ли из тех, кому в жизни везет: одинока в старости и еле ползает на своих распухших ногах. И уж никак не нужен ей, одинокой, резной круглый стол на гнутых, с львиными лапами, ножках, и еще меньше – бронзовая, под ониксовым колпаком, лампа. Эти редкие вещицы Лилия Николаевна считает уже своими, и ее раздражает, что они по-прежнему стоят у соседки. Одно только ей в утешение: прокрасться по коридору незаметно, увидеть испуг, недоумение. Разве может допустить она, почти уже заслуженная, чтобы кто-то жил за забором отдельно, в свое удовольствие? Чтобы нисколько не нуждался ни в советах, ни в... разрешении на саму эту самодостаточность. Чтобы радовался самому себе. Учительница учила и будет учить, что это не по-соседски, не по-нашему: иметь свой, а не соседский ум.

– Будем таперича подругами, – в который уже раз напоминает она Марине Мстиславовне, пока та поливает, опершись на палку, посаженную возле забора черемуху. Нет ничего проще эту черемуху извести: вылить под корень ведро кипятка с солью. Но это потом, потом... Марина Мстиславовна позовет собирать вишню, абрикосы... самой-то ей ничего уже не надо. – Я к тебе за стиральной машиной, моя совсем не фурычит. Да ты не бойся, это ж не насовсем!

Прохладный майский ветерок надувает парусом висящие на веревке пододеяльники, и к свежему, ландышевому запаху выстиранного белья примешивается такой гадкий, тошнотворный запашок... пора к нему уже привыкнуть. Это не просто запах свинарника, но запах учительского свинарника, где провонявшие мочой свиньи такие от грязи злые, что загрызут, если сунешься. Им, свиньям, без разницы, день теперь или ночь: единственное в тесном закуте окошко заткнуто пыльной мешковиной. Они стоят впритык бок к боку, по колено в моче и навозе, и крысам удается жрать прямо с живого, выгрызая на загривках щетину, и напрасно свиньи трутся о железную загородку. Смысл их свинячьей жизни заключен единственно в том, чтобы перерабатывать комбикорм на сало, и это сало легко укладывается потом на широкие учительские бока, зад и живот, тем самым помогая учительскому весу поспеть за учительским авторитетом. Свинина воняет учительским, из-под мышек, потом, свиные мозги наводят на мысль об интеллигентности. И когда в закут заглядывает сосед Борька и метит из двухстволки в свинячью башку, свинья думает в первый и последний раз: «Наконец-то, счастье!» Ей мнится, свинье, в миг разлуки с адом, как хрюкается ей, чисто вымытой, в каких-то забугорных далях: у входа в белый деревянный домик висит собственный ее свинский портрет с «Добро пожаловать», дальше гостиная с портретами всех родственников, включая новорожденных поросят, потом спальня... ах, со свежей соломой, с настоящей хрустальной люстрой! Под этой сверкающей люстрой хочется мечтать о чем-то человеческом, возвышенном, хочется выйти на солнечную террасу, с которой открывается чудесный вид на конюшню и курятник, хочется... просто хрюкнуть: живут же свиньи.

– Это ты про что? – хмуро интересуется Лилия Николаевна, тяжеловесно садясь на табуретку. – По телевизору такого не показывают, и значит, нет этого вообще. Хрустальная люстра в свинарнике! Ты лучше продай мне свою лампу, на что она тебе?

– Память о муже, – нехотя поясняет Марина Мстиславовна, опасаясь заводить с соседкой долгий разговор: та не встанет с табуретки, пока все не выведает. И тут как нарочно табуретка под нею трещит, и не ухватись она за ручку холодильника, наверняка бы грохнулась на пол. Ручку, правда, пришлось менять, и сосед Борька в недоумении матерился: ну и силища у бабы. Он сказал еще, что учительнице быть заслуженной разве что у черта в аду, да и то по родственной с ним, чертом, линии…

– Болезни начинаются с неправомерных движений души, – будто бы и не Борьке, а кому-то более терпеливому и разумному, пускается разъяснять Марина Мстиславовна, – с душевной неудовлетворенности и жажды, тоски, вожделения, ярости... Душа теряет равновесие, возникает путаница в теле, одно наезжает на другое, расхищает тело и грабит...

Борька слушает и тупо кивает, его уже клонит в сон от этих сказок, он как будто бы даже пьян. «Заморочила по полной программе», – думает он и принимается чинить табуретку, ставит на отломанную ножку железную скобу. Он думает, что врачей скоро в мире ни одного не останется, да и откуда им браться, если нет ни у кого сочувствия к человеку. Что человек, что скотина, ест, спит, телится... а надо бы знать тонкие материи, не прошитые ни корыстью, ни жадностью, ни даже личным интересом. Оно и скотину надо уважать, тем более что ни в чем она перед человеком не виновата. И даже бывает куда умнее человека, что ли, мудрее. Взять хотя бы училкиного хряка Буша: он хоть и не из Белого дома, и ни разу в жизни не мылся, и мозгов всего-то на маленькую сковородку, и позволяет хрюшке Ягодке на себя мочиться, но врага своего знает: знает, кому ляжет на бока его сало. Есть у Буша сынок, такой же злобный и немытый Яндекс Точка Ру, и это ему на днях Борька отрезал яйца, тем самым гарантировав качество вкуса свинины. Но Яндекс Точка Ру перестал жрать комбикорм, которого у училки две с лишним тонны, и соглашается только на бутерброд с «Эдамом», кофе со сливками и дольку грейпфрута... вот ведь скотина, как умен! Он, видите ли, перед смертью голодает, не вынося больше никакого свинства! И хотя двухстволка уже заряжена, сдается Борьке, что Яндекс Точка Ру в самой своей свинячьей сущности никуда от меткого выстрела в лоб не денется: свинину заморозят и посолят, но идея свиньи, мировая свинячья сеть... Точка. Ру.

…Посматривая на привязанного к футбольным воротам бычка, Лилия Николаевна замечает, что у нее скачет давление, поднимается жар, выплескивается сверх меры адреналин, а главное, бегут, опережая друг друга, интересные такие мысли: двести килограммов бесплатной говядины, и это не ей, почти уже заслуженной учительнице, а бабке Тоне. Собираясь на педсовет, она надевает сшитый по фигуре креповый, пятьдесят восьмого размера, костюм, прикалывает на правую грудь лиловую бархатную розу, отступает на шаг от вделанного в дверцу шкафа зеркала, оправляет на животе намекающий на следы талии поясок, встряхивает еще не расчесанными после бигудей завитками густых, неохотно седеющих волос. В свои пятьдесят три она в прекрасной форме, и если уж кто кого в сельской школе пересидит, так это, бесспорно, она: никакой директор не обнаружит у нее ни одного профессионального изъяна. Напротив, все ее достоинства, а их не счесть, налицо, и нет такого родителя, которому не хотелось бы отблагодарить дорогую учительницу... да, она не дешевая. Тот, кто сам еле сводит концы с концами, пашет, как скотина, у нее в огороде, красит в доме полы, клеит обои, да мало ли что еще. Другие куда благодарнее: везут дорогую учительницу на своих иномарках на городской рынок, и она только выбирает, выбирает... пока в багажнике не останется места.

…Еще раз глянув в окно, Лилия Николаевна морщит напудренный лоб: рыжий бычок дотянулся до столба и шиплет вьющийся мышиный горошек, шиплет и смотрит по сторонам, и басовито мычит: «му-у-у-у...» Так мало ему, скотине, для радости надо. И главное, все это бесплатно. Совершенно бесплатно! Оно ведь и бабка Тоня так говорит: «Все самое лучшее – бесплатно». Откуда только такие глупости в голову людям приходят! На Пасху бабка Тоня угощает соседей творогом, бери сколько хочешь, будто сама она богаче других. И хотя у нее две коровы, и теперь еще этот бычок, но завтра – кто знает... На футбольном поле ни души, бледное полуденное небо одиноко и пусто, лишь жаркий ветерок треплет цветущие у обочины ромашки и крапиву. Кому-то дан мир и покой, скромное довольство малым, независтливое расположение к жизни. Лежать вот так, на траве, на солнце, с наслаждением пережевывая одуванчики, и только мычать, мычать... Внезапно Лилию Николаевну берет такая злоба, что, окажись перед нею замешкавшийся ученик, она огрела бы его классным журналом или указкой. Этот рыжий бычок уязвлял ее почти уже заслуженное самолюбие: он просто жил. Жил ради одной только радости пищеварения, нисколько не считаясь ни с близостью школы и учительской, ни с парадом педсовета. Да как он смеет так... жить!

Окликнув амстаффа, она спускает его с цепи, и тот, непонимающе оглянувшись, словно спрашивая, так ли это, неуклюже трусит к футбольному полю. Он выполняет команду, хотя лучше было бы в такую жару лежать в тени под вишней. И Лилия Николаевна зорко следит, стоя возле калитки, за ходом дела. В своем напряженном, похожем на вожделение внимании она не слышит отчаянного рева бычка, видя только, как ам-  
стаф виснет у него на морде. Пес не очень старается, чуя знакомый запах бабки Тони, наливавшей ему в миску парное молоко, он только рванул чуть-чуть, играя...

Услышав дикий рев, Марина Мстиславовна ковыляет на перебинтованных ногах к окну: к бычку бежит, сломя голову, бабка Тоня и что-то кричит, и все живущие поблизости собаки заливисто лают в ответ. Кое-как спустившись с крутых ступеней, Марина Мстиславовна ковыляет к калитке, идет, опираясь на палку, через дорогу... а надо бежать. Ее обгоняет Борька, останавливается, хватает под руку, тащит, как на буксире. Бычок ревет, обливаясь до шеи кровью: трудно сказать, жить ему теперь или нет.

Никто не видел амстаффа, придраться не к чему. Превосходно. Еще раз оглядев себя в зеркало, Лилия Николаевна сбрызгивает взбитую прическу родительской «Шанелью»: как раз сегодня ее будут рекомендовать на педсовете в заслуженные.

Добравшись наконец до бычка, Марина Мстиславовна, ахает: правый глаз вырван и висит на клочке кожи. Здоровенный, залитый кровью бычий глаз. Тут либо инфекция и смерть, либо... чудо.

– Тащи меня обратно домой, сию минуту, – командует она Борьке, – скорее, Боречка!

Дома она роется в собачьей аптечке, находит кривую толстую иглу, такую страшную на вид, что Борька, угомонивший за свою жизнь много всякой скотины, отворачивается. Таким крюком – и по живому. Вдев в широкое ушко иглы капроновую нитку, она берет бинт, пузырек, вату, и Борька снова хватает ее под локоть, почти тащит на себе...

Бычок устал уже реветь и теперь покорно стоит с вывалившимся глазом, уставя другой глаз на бабку Тоню. Ему должно быть самому ясно: ничем тут уже не поможешь. А бабка Тоня что... только ахает и крестится. Телятина слишком еще молодая, да и веса пока никакого.

– Так... – едва переведя дух от жары и спешки, подходит к бычку Марина Мстиславовна. – Зови мужиков держать! Буду шить без наркоза!

Бычок, чуя скорую над собой пытку, шарахается от нее, едва не сбив бабку Тоню с ног, и двое соседей тут же берутся за мотающуюся на шее веревку, сын бабки Тони хватает бычка за хвост. Но даже в такой заварухе бычок не намерен был сдаваться, видно, вышел силой в Вартана: ну прямо танк. Сама же бабка Тоня и уломала его: схватила за переносицу, дернула, потянула. Бычок мгновенно замер и так, не шелохнувшись, и вытерпел над собою страшное издевательство: глаз, висевший на клочке кожи, был вшит кривой иглой, по живому, обратно. Потом, уже с забинтованной головой, бычок с таким ужасом скосил на Марину Мстиславовну здоровый глаз, что та сама и прослезилась бы, если бы жизнь не отучила ее от слез.

– Я же не мучить тебя пришла, родненький...

Борька отвел бычка в новый коровник, по пути намекнув бабке Тоне, что двухстволка у него заряжена. Но бабка Тоня, видно, ничего теперь не понимала, только всхлипывала и утиралась пестрым передником. Она-то знала, что это натворила учительница, вот только не знала зачем. Все будет по-прежнему: молоко, творог, сметана. Лилия Николаевна будет долго считать копейки, бабка Тоня будет терпеливо ждать. «Прости нам долги наши, как прощаем мы должникам нашим...» И не Тонина это вина, что мучается Лилия Николаевна от неуемной, выжигающей ей сердце жадности. Никто ведь не знает, разве что Яндекс Точка Ру, как велики на самом деле ее мучения: жрать сало и никогда не наедаться.

Вернувшись, Борька нарвал у себя в саду охапку синих ирисов и отнес Марине Мстиславовне: из всего, что он видел в жизни, этот пришитый бычий глаз был единственной правдой. И пришит он был по-живому. Страшной кривой иглой.

Через неделю пора было снимать швы, но бабка Тоня бычка не вела, словно и забыв про это. И когда она принесла, как обычно, творог и молоко, лицо ее, всегда свежее и румяное, сияло еще больше:

– Бычок-то жив-здоров, позову на печенку!

– На какую еще печенку?

– Да на яго!

Марина Мстиславовна устало садится на табуретку. Так всегда у людей: несчастье ничему их не учит, тогда как счастье закрывает им глаза, и нет ни в ком мудрости.

– Как же могу есть того, кого лечила? Я же его спасла!

Бабка Тоня смотрит в сторону, мнет в ладони рубли, ей это в новость. Она ведь не жадная, она отдаст врачу хоть всю бычью печенку, и телятинки свежей в придачу. Но Марине Мстиславне, видно, того мало: ей хочется... жизни! Вот ведь, какая еще прихоть: жизнь. – Людей защищают плохие ли, хорошие ли законы, – нехотя поясняет она, словно и не надеясь, что кто-то ее услышит, – но кто защитит от мучений, издевательств, истребления всякую другую живую тварь? Ты. Кроме тебя, некому. И тут только два исхода: либо жизнь, либо смерть. Ты любишь жизнь, Тоня?

– Да как же ее, жизнь, не любить! – охотно подхватывает та, – Вот и внучка растет, и сарай к коровнику пристраиваем, и вторая корова скоро отелится!

– А старую, само собой, зарежешь, толку с нее уже мало. За пять лет дала тонну молока, народила троих телят, теперь вот отдает свое же мясо.

Бабка Тоня кивает, так оно и есть: пять лет для коровы немалый срок. А что до коровьих там, телячьих нежностей, так за это ведь никто ничего не платит... хотя, с другой стороны, самое лучшее и есть бесплатное. Да что это она морочит себе голову? Что за разговор тут такой?

Все лето они только кивали друг другу, хотя бабка Тоня по-прежнему приносила творог и молоко. И как-то раз, уже в начале сентября, они стояли на автобусной остановке, и обеим кивнула, спеша в школу, Лилия Николаевна.

– Здорово, – бодро бросает бабке Тоне на ходу Лилия Николаевна, – с утречка, что ли, в город? Возьми мне буханку черного и два батона к чаю, и не перепутай: к чаю.

Бабка Тоня сдержанно, послушно кивает: она не перепутает. В авоське у нее с десяток пластмассовых бутылок, молоко в них еще теплое, она станет возле подземного перехода, у всех на виду, и к двенадцати уже вернется, набив авоську хлебом и гостинцами для сына. Она не перечит Лилии Николаевне, та ведь уже заслуженная. Внучка сидит у нее в классе на первой парте, а дома зубрит, зубрит... да еще ходит два раза в неделю домой, так теперь делают все.

– Ноги-то как, Мстиславна? – так же бодро продолжает Лилия Николаевна, – Вижу, полно у тебя нынче абрикосов, а ты и не собираешь. Так я к тебе вечерком, подставлю табуретку, доберусь аж до самых высоких, сниму все до одного. Вчера ведро абрикосов отдавали по триста рублей...

…Подъехал автобус, обдав пылью росистую на обочине траву, все полезли, лениво толкаясь авоськами, в переднюю дверь. Шофер берет, не считая, деньги, зная, кому где выходить, и кто-то уступает Марине Мстиславовне место, и бабка Тоня пристраивается рядом, на краешке.

– Ну вот, так помаленьку и доедем, – удовлетворенно заключает бабка Тоня, – Приходи нынче вечером на печенку. Со свежими картохами, с укропом и с луком.

Марина Мстиславовна молчит, смотрит, опершись на палку, себе под ноги. Автобус подбрасывает всех на ухабах, сталкивает коленями и плечами и порой тормозит так, что стоящие валятся на сидящих, и кто-то непременно, хотя и беззлобно, орет шоферу: «Не картошку, твою-то мать, везешь!»

– А вот телятины нет, – озабоченно продолжает бабка Тоня, – всю отдала Лилии Николаевне, она ведь с внучкой занимается бесплатно, по-соседски. И хорошо еще согласилась, знает, что у сына всего одна зарплата.

Бабка Тоня торопливо сморкается в чистый платочек, вытирает глаза, морщинистый рот, искоса смотрит на Марину Мстиславовну, и кажется ей, что та, отвернувшись к окну, тоже торопливо вытирает глаза. И обе они, старые, всю дорогу молчат, прижавшись друг к другу плечами.